

Нарратив и теория в исследованиях советского: значение исследований Н. Н. Козловой для современной политической теории*

Максим Фетисов

Кандидат философских наук, координатор Центра социальной теории
и политической антропологии им. Н. Н. Козловой
философского факультета Российского государственного гуманитарного университета
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва, Российская Федерация 125993
E-mail: msfetisov@gmail.com

Понятие «тоталитаризм» в качестве базовой объяснительной модели советского общества начало терять свою значимость практически сразу после появления. Несмотря на это, оно оказалось успешным как инструмент идеологической борьбы, превратившись в важную часть большого нарратива, не только доминирующего в медиа и журналистике, но и по сей день значительно влияющего на социальные и гуманитарные науки, которые пытаются «работать» с советским, как само собой разумеющаяся предпосылка. По сути дела, речь идет о некотором идеологическом «замке», блокирующем попытки нормальной научной дискуссии. В противоположность этому работа Н. Н. Козловой стала фактически первой работой с советским не как отклонением от цивилизационной нормы, а как предметом интерпретации, раскрывающим еще одну версию Современности. Ее анализ показывал повседневное формирование советского варианта современного общества глазами рядовых участников советской модернизации. Этот подход открыл новое пространство исследовательской работы, описывающей советское общество не как единый монолит, скрепленный идеологией и репрессивным аппаратом, а как открытую динамичную сеть различных социальных практик и постоянно сменяющихся балансов сил. Такое радикальное плюралистическое видение советского общества не только ставит под вопрос сложившиеся представления и устоявшиеся классификации, но и, вероятно, содержит в себе возможные последствия для политической теории Современности в ее нормативных и критических аспектах.

Ключевые слова: тоталитаризм, нарратив, автобиография, советское, архив, власть, субъективность

Тема данной статьи связана для меня с личными воспоминаниями: Наталия Никитична хотела, чтобы проблема взаимоотношений теории и нарратива стала темой моей диссертации — вероятно, это было важно для той работы, которую делала она. Самостоятельных широких теоретических обобщений она не любила, и поэтому дополнительная исследовательская «подпорка» пришлась бы весьма кстати. Мне же в тот момент это было не до конца понятно, поскольку меня тогда больше интересовали картинки, рисуемые социальной теорией широкими мазками. Да и

© Фетисов М. С., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-1-227-246

* В основе статьи лежит сообщение, сделанное 30 марта 2016 года, на конференции «По ту сторону тоталитаризма: программа исследований «советского человека» Н. Н. Козловой», посвященной памяти Наталии Козловой.

шифру специальности это соответствовало куда больше, так что тема диссертации приняла несколько иной вид. Боюсь, что в этом тексте не удастся избежать как мемориального пафоса «возвращения долга» учителю, так и попытки возвращения к когда-то начатому, но все еще незавершенному. При этом возвращение к «незавершенному» в полном смысле слова не представляется возможным, так как то, что было не завершено тогда, успело наряду со многим другим основательно измениться за прошедшие полтора десятка лет.

Содержательно статья состоит из двух сюжетов, без очевидной смысловой связи между ними, однако — и это принципиальный момент текста — именно работа профессора Козловой позволяет перекинуть мостик от одного к другому, увязав вместе два набора проблем. Первый касается разбора актуальных сегодня модусов повествования о советском: каким образом этот опыт подвергается «нарративизации» (Уайт, 2001: 8) не только в текстах историков или социальных ученых, но и, что не менее важно, в публицистике, медиа, публичных лекциях и в других популярных форматах? Как исторически, из каких теоретических building blocks сложились эти нарративные массивы? Какие нарративные стратегии складываются на их основе? Какие идеологические рамки общественного восприятия советского в результате возникают? Этот разбор, который лучше осуществить на конкретных примерах, очень важен для прояснения того места, которое занимает работа, проделанная Козловой, из каких базовых предпосылок она исходила и от чего отталкивалась, начиная свой, без всякого сомнения, амбициозный и радикальный исследовательский проект. Они были актуальны тогда и поэтому важны для понимания ее работы в исторической перспективе. Сейчас эти предпосылки могут показаться серьезному исследователю уже несущественными, но, несмотря на то что модус их существования также претерпевал изменения в течение прошедшего времени, это совсем не означает, что они утратили свою силу. От них необходимо отталкиваться как от фона, на котором основополагающие черты исследовательского проекта профессора Козловой по переосмыслению советского модерна могут проступить наиболее рельефно. В нашем понимании речь идет о радикальном плюралистическом видении устройства советского общества, которое не только ставит под вопрос сложившиеся представления и устоявшиеся классификации, но и, вероятно, содержит в себе более глубокие следствия для политической теории Современности как в ее нормативном, так и критическом измерении. И здесь мы переходим ко второму концептуальному блоку, который имеет дело с теоретическими обобщениями и выводами, вытекающими из исследовательского проекта Козловой. Если можно сказать, несколько забегаю вперед, что советский проект был одной из версий большого проекта Модерна, а не «тупиковой ветвью цивилизации», как нас в этом пытаются убедить различные производители академических норм уже на протяжении двух десятков с лишним лет, то какие последствия несет его внезапный уход для всего проекта в целом? В каких теоретических рамках теперь нужно мыслить не отдельные страны, уже привычно называемые «постсоветскими», а весь мир, вдруг ставший «постсоветским»? Ведь

оказалось, что так называемые революции 1989–1991 годов не породили никакого нормативного содержания. Что делать с этой, как определил ее Ален Бадью, «непонятной катастрофой» (Badiou, 1998)¹? Переход от очень тщательных и предметных исследований Козловой к подобным вопросам выглядит со стороны, конечно, произволом: Наталия Никитична с осторожностью и подозрением относилась к таким широким обобщениям, и будь она с нами, у нее наверняка нашлось бы что возразить. В свое оправдание можно сказать, что выбранная формулировка темы статьи дает нам в этом смысле определенный карт-бланш: вряд ли в социальной теории можно найти понятие более широкое и в то же время более расплывчатое и неопределенное, чем «тоталитаризм». Выход за пределы навязываемых этим понятием мыслительных рамок — наша прямая задача.

Если мы начнем разбирать композицию и по сей день доминирующих нарративов о советском, то первое, с чем доведется столкнуться, будет слово «Тоталитаризм» с большой буквы «Т» и производные от него гипотезы «всеобщего подавления», «принудительной массовизации», «тотального двоемыслия» и тому подобные мыслительные сущности, список можно продолжать долго. Действительно, концепция тоталитаризма сыграла (и продолжает играть) важную роль в определении базовых рамок восприятия советского опыта². Здесь нет необходимости вдаваться подробно в историю ее появления, достаточно лишь отметить, что «тоталитаризм» в качестве базового понятия, призванного объяснить советское общество, начал терять свою значимость уже практически сразу после введения в теоретический оборот. Ханна Арендт во введении 1966 года к своей, ставшей уже классической, работе, впервые опубликованной в 1951 году, говорит, что «Советский Союз уже нельзя считать тоталитарным государством в строгом смысле этого термина» и поэтому призывает «использовать слово „тоталитарный“ осторожно и благоразумно»³ (Арендт, 1996: 7–28). Нельзя сказать, чтобы этот призыв был особо услышан: термин сделал успешную карьеру, перекочевав из политической теории сначала в смежные прикладные дисциплины (уже в сильно упрощенном исполнении Фридриха и Бжезинского [Friedrich, Brzezinski, 1956]), оттуда в сферу принятия политических решений, а затем в журнализм и медиа, где успешно функционирует и по сей день в качестве идеологического ярлыка, а не теоретического понятия⁴. Если попытаться применить к «тоталитаризму» предложение в свое время Рейнхартом Козеллеком (Козеллек, 2014: 27–33) четырехчастную

1. Вариант русского перевода, озаглавленный «Тайная катастрофа», см.: Бадью, 2005.

2. Это, конечно, совсем не отменяет факта существования (например, в медиа или в популярной исторической литературе) большого числа «искупительных», романтических нарративов о советском, столь же идеологизированных, но, как правило, менее влиятельных. Они требуют отдельного анализа за рамками темы данной статьи.

3. Сравните эту осторожность с обобщением отечественного исследователя Л. Д. Гудкова: «Даже по осторожным прикидкам, сегодня в мире более половины всех государственно-политических систем можно считать тоталитарными» (Гудков, 2004: 374).

4. В качестве одного из недавних многочисленных характерных примеров такой нарративизации см.: Грозовский, 2016.

схему исторической траектории теоретического понятия, то налицо будут все ее составляющие: темпорализация, идеологизация, политизация и демократизация. Темпорализация будет выражаться в однозначном маркировании «тоталитаризма» как исторического регресса, темпоральной патологии и отклонения от некоего «правильного» пути развития; про идеологизацию и политизацию было сказано очень много ранее, стоит лишь добавить, что первые три исторических превращения сыграли злую шутку с теорией модернизации и ее прикладными изводами в виде многочисленных советологических штудий. Если последние оказались не в состоянии ни предсказать, ни объяснить внезапный коллапс советской системы, впад после него в своеобразное теоретическое оцепенение, то теория модернизации остановилась в развитии, когда одна из региональных моделей Современности, пускай самая на данный момент успешная, по сути дела, осталась в одиночестве, превратившись в нормативный канон для общественных наук и критерий оценки для всех прочих версий Модерна⁵. На этом, собственно, с теоретическим понятием тоталитаризма можно было бы распрощаться, сделав его достоянием истории общественных наук, но еще остается последний, четвертый элемент схемы Козеллека — демократизация. Здесь у «тоталитаризма» (уже в кавычках) началась новая жизнь в роли главного отрицательного персонажа большой нарративной конструкции, очень влиятельной в средах, обычно далеких от серьезного теоретического знания, но весьма значимых для формирования популярного восприятия и осмысления советского опыта. Тут он воспринимается как безусловная данность, как не подлежащая сомнению пресуппозиция⁶. Речь идет прежде всего о массмедиа, публицистике, научно-популярной литературе, где очень часто при разговоре о советском «тоталитаризме» одновременно выполняет роль стигмы (когда надо произвести соответствующую атрибуцию), либо идеологического «замка», Denkverbot, в определении Славоя Жижека (Žižek, 2001), используемого для того, чтобы блокировать любые попытки содержательной дискуссии и одновременно задать жесткие рамки повествования как о советском прошлом, так и о постсоветском настоящем. Более того, очень часто можно наблюдать феномен обратной инфильтрации уже, казалось бы, отыгранного, мертвого теоретического понятия в содержательный язык научных дискуссий. Это происходит, когда нарратив «тоталитаризм vs демократия» проникает, подобно вирусу, из медиа в поле

5. Блестящий разбор злоключений «тоталитаризма» в контексте теорий модернизации и в связи с советологией см.: Капустин, 1998.

6. Как тем не менее совершенно справедливо описывает эту ситуацию Л. Д. Гудков: «Именно работоспособность понятия привела позднее к использованию его в политической риторике уже как метафоры репрессивных режимов вообще (или даже в качестве клише для фиксации тенденций к усилению репрессивности в обществе). Переходя в другие социальные и культурные среды, понятие тоталитаризма утратило свою теоретическую эвидентность, но зато приобрело массу факультативных значений, учитывающих и отношение к этим режимам, и последствия их для развития демократии, и отношение к тем, кто использует его в социально-политической конкуренции. Тоталитаризм стал собирательным семантическим комплексом, ужасающим образом состоянием общества, от которого отталкиваются или дистанцируются при проведении актуальной демократической политики, саморефлексии и пр.» (Гудков, 2004: 375).

социальных и гуманитарных наук, пытающихся исследовать советское, имплицитно их описанным ранее коллегами «эффектом неконтролируемой экспансии метафоры» (Константиновский, Вахштайн, Куракин, 2012: 38). Таким образом, из анализа очень опасных тенденций развития, присущих Современности как таковой, из попытки поставить «диагноз нашего времени», как ее собственно исходно замышляла Ханна Арендт, теория тоталитаризма стала универсальной квазитероретической отмычкой, призванной в двух словах объяснить, почему «мы» не такие, как «они, превратившись в целую нарративную стратегию, задающую не только границы популярного, обыденного восприятия советского опыта, но даже и границы его дальнейшего возможного теоретического осмысления»⁷.

Классическим примером такого слияния социальных наук с остропублицистическим пафосом порой до состояния полной неразличимости служит исследовательский проект «Советский простой человек» группы ученых под руководством Ю. Левады. Изначально (и методологически корректно) задуманный Левадой «как идеально типическая конструкция, представляющая сложный набор взаимосвязанных характеристик» (Гудков, 2007: 22), в работах его последователей «советский человек» со временем превращается в «антропологический тип», соответствующий реалиям «распадающейся или меняющейся институциональной системы тоталитарного общества-государства» (Гудков, 2009: 14) и наделенный определенными отличительными признаками: массовидный, усредненный, приспособленный, ограниченный и в то же время иерархический, хронически недovolный, неуверенный в себе, разочарованный, завистливый, фрустрированный, двоемыслящий и т. п. (Гудков, 2009: 15–16). Изначально «крах советской системы» связывался «с невозможностью воспроизводства этого „человека“», «однако в 2000-х гг. вместе с начавшейся сменой «поколения перестройки» резко усилились консервативные и ностальгические настроения, задавшие рамки рекомпозиции авторитарного режима, и стало очевидным, что воспроизводство советской системы продолжается» (Гудков, 2009: 17). Таково краткое содержание сюжета о «простом советском человеке»; подробности можно выяснить в многочисленных текстах самого Левады, его учеников и последователей, это отдельная большая тема⁸. Нас же интересует общая дискурсивная рамка этого проекта, которая содержится в концентрированном виде основы той нарративной стратегии, которая

7. Описание похожей ситуации применительно к советскому, а также к любым попыткам вообразить альтернативу существующему порядку, сложившейся в американских исследованиях и в медиа, см.: Dean, 2012: 32–38.

8. В подтверждение необычайной живучести нарративного конструкта о «советском человеке» см. обзор В. А. Сомова «Советский человек как социокультурный тип в научном дискурсе». Помимо прочего, обзор выявляет чрезмерную перегруженность темы идеологическими инвестициями, поэтому автор в итоге вынужден заключить: «Должно пройти время для того, чтобы всестороннее изучение советского общества перестало представлять какую-либо опасность для современности» (Сомов, 2012: 122). По этому же поводу см.: Сандомирская, 2012: «...как говорила Козлова, „тем, кто хочет заниматься историей современности, надо иметь крепкие нервы“».

по сей день продолжает детерминировать популярное восприятие советского⁹ и от которых приходилось отталкиваться Н. Н. Козловой, начиная собственный исследовательский проект¹⁰. К этим основам относятся прежде всего основанная на структурном функционализме теория модернизации с обобщенным «воображаемым Западом»¹¹ в качестве идеального образца «нормального общества» и связанная к ней теория тоталитаризма (со всеми своими классическими морфологическими признаками), призванная объяснить «ненормальную уникальность» и в то же время «вторичность» общества советского¹². Все это сочетается с убеждением в невиданной исключительности советского (а затем и постсоветского) случая даже на фоне прочих тоталитарных и авторитарных режимов и вытекающей отсюда уверенностью в практически полной неприменимости концептуального аппарата западной политической теории¹³ к «стране родимых осин» (Гудков, 2006: 34)¹⁴, перемежаясь с моральными инвективами в «адрес российского населения в целом», которое продолжает оставаться «(пост)советским» и «цинично» не дает свершиться транзиту от «тоталитаризма к демократии». Исследовательская работа «школы Левады» представляет собой, пожалуй, самый простой и классический пример того, как натурализация и «метафоризация» собственных теоретических

9. Характерные свежие образцы медийных проявлений такой детерминации см.: Грозовский, 2016; Архангельский, 2016, в сфере книгоиздания — работы Н. Б. Лебиной.

10. Поразительная живучесть и сила нарратива о «человеке советском» неожиданным образом отразилась на посмертных публикациях Наталии Никитичны: издатель ее *opus magnum*, Г. О. Павловский, руководствуясь, видимо, маркетинговыми соображениями, произвольно поменял оригинальное название книги «Сцены из истории изобретения советского общества» на «Советские люди». В результате из названия исчез очень важный социально-конструктивистский аспект «изобретения», представляющий общество именно как процесс постоянного (вос)производства, в том числе на уровне повседневных взаимодействий (Козлова, 2005).

11. «За уверенность в праве на интеллектуальную и моральную оценку может стоять вера в превосходство современной западной цивилизации, которая видится пиком во временной и пространственной иерархии социальных форм. Запад — страна чудес, где исполняются самые заветные мечты бывшего советского человека. Это один из ключевых элементов российского социального воображаемого» (Козлова, 2005: 16). Подробный анализ функций «Запада» в топологии советского политического воображаемого см.: Юрчак, 2016.

12. Как пишет Гудков: «Любой из вариантов тоталитаризма представлял собой реакцию отсталых обществ, оказывающихся в положении «догоняющих», на первичные и успешные процессы модернизации, происходившие в странах Запада» (Гудков, 2009: 9).

13. «Арсенал западных социальных наук обнаружил свою ограниченную пригодность и дескриптивную неадекватность. Буквальное и механическое применение этого понятийного аппарата в качестве логических шаблонов для интерпретации отечественного материала (социологического, культурного, исторического) или его использование в качестве теоретических аналогий оказалось совершенно недопустимым... Язык западной социологии был разработан для изучения *принципиально иных* институциональных систем, действовавших по иным правилам, нежели *мобилизационное и милитаризованное советское общество-государство* и многое сохранившая от него постсоветская Россия. В особенности это заключение справедливо для всего, что относится к „нормальному“, рутинному режиму функционирования общества...» (Гудков, 2004: 5–6; выделено мной. — М. Ф.).

14. «Заемствуемый концептуальный и теоретический язык — вещь небезобидная. Он создает эффект имитации собственной деятельности под „большую и настоящую науку“, стерилизуя собственные потенции работы и необходимость вдумываться в то, что же, собственно, представляет собой страна родимых осин» (цит. по Вахштайн, 2011: 70).

предпосылок приводят к превращению теоретических понятий в нарративные конструкции, задающие уже куда более широкие идеологические рамки популярного осмысления и восприятия советского опыта¹⁵.

Существуют и более современные случаи подобной «обратной инфильтрации» нарратива в теоретическое поле. К таковым, например, относятся попытки выстроить теорию вокруг трансцендирующих реальный исторический опыт макропонятий. Ярким примером такого макропонятия (зачастую неотличимого от метафоры) может послужить широко обсуждавшийся в последнее время термин «внутренняя колонизация», в данном случае вопрос о корректности заимствования западных теорий не возникает: очевидно, что источником вдохновения тут служат *postcolonial studies*. Проблема употребления концепта «внутренней колонизации» только одна: его adeptам представляется, что он исчерпывающе описывает базовые механизмы российской истории и может объяснить практически все¹⁶. Вокруг пар «колонизация/деколонизация», «колониальный/постколониальный» строится нарративная стратегия, в которой советская история предстает простым продолжением прежней имперской политики¹⁷. Одним словом, перед нами сдобренный «дефицитом демократических институтов» старый добрый «русский деспотизм» (хорошо знакомый по сочинениям исторических публицистов вроде Р. Пайпса), просто под новой вывеской, да еще и оснащенный современными технологиями массовой мобилизации¹⁸. К схожим нарративным стратегиям относятся также появившиеся в последнее время попытки разработать нормативную теорию коллективной памяти, которая, с одной стороны, стремится дезавуировать существующие «искупительные нарративы» о советском прошлом, а с другой — навязать свои правила повествования о нем через выработку коллективных норм поминовения и скорби¹⁹. Вопрос о потенциальном субъекте подобной политики памяти либо старательно обходится, либо его производство вмещается в обязанность уже нынешнему, «постсоветскому», государству, при этом, в чем будет состоять его (государства) польза от вмешательства в эту *de facto* холодную гражданскую войну на одной из ее сторон, также не сообщается. На самом деле речь идет об еще одной, предпринимаемой в рамках символической борьбы

15. Заслуживающий внимания разбор места и роли «школы Левады» в отечественной социологии см.: Габович, 2008. В значительно более острой и полемической тональности см.: Вахштайн, 2012.

16. См. Эткинд, 2013; полемику см.: Эткинд, Уффельманн, Кукулин, 2012.

17. См., например, утверждение «Советское руководство продолжило внутреннюю колонизацию под антиколониальными лозунгами» (Эткинд, Уффельманн, Кукулин, 2013: 47).

18. См., например, замечание В.С. Малахова: «Наконец, гипотеза внутренней колонизации меня смущает еще и потому, что она приглашает мыслить историю России под знаком континуума. В такой перспективе большевистский эксперимент есть не более чем очередной извив колониалистской линии. Так сказать, от Петра и Екатерины к Ленину и Сталину. Мало того: коль скоро постсоветский период авторы считают возможным рассматривать как «постколониальный», Путин начинает казаться замыкающей фигурой в этом искусственном пантеоне. В результате вместо анализа реальных людей в конкретных исторических обстоятельствах мы начинаем повсюду усматривать действие трансисторической культурной матрицы (Малахов, 2013).

19. См., например: Эткинд, 2016.

«производителей норм», попытке унификации коллективной памяти, которая, как показала в своих исследованиях Козлова, далеко не так однородна и не поддается запихиванию в прокрустово ложе нарративов, берущих на себя обязательство предписывать правила повествования о прошлом.

Разберем еще более тонкий пример подобной «токсичности» нарратива «тоталитаризм/демократия»: в 2009 году, в сотом номере «Нового литературного обозрения», в программной статье «Новая антропология культуры», И. Д. Прохорова, начав с «актуализации главного травматического вопроса, вытесняемого ныне как из культурной памяти, так и из официальной историографии, — об истоках и трагических последствиях российской радикальной модели тоталитаризма», указывает на необходимость сконцентрировать внимание на малоизученной специфике эволюции общества внутри тоталитарных систем, в итоге подтачивающей и разрушающей эту жесткую институционально-сословную решетку» (Прохорова, 2009). Решение этой исследовательской задачи она видит в необходимости «антропологического поворота» в гуманитарных науках, подразумевающего отказ от «больших нарративов» и понятийного эссенциализма в пользу обращения к «истории людей» (Прохорова, 2009). Данный поворот призван, по мысли автора, вывести в том числе исследования советского из дурной бесконечности дискуссий об «особом пути» и драмах вечной «абортивной модернизации»²⁰. То есть речь, по сути дела, идет о том, чтобы нормализовать наконец научное говорение о советском, проблематизировав его в общемировом контексте различных теорий Модерна как одну из региональных версий Современности. Как совершенно справедливо замечает автор, «настало время более решительно, чем прежде, ввести предмет исследования в международный контекст и попытаться найти новую оптику сравнительного изучения различных локальных историй» (Прохорова, 2009). Принципиальные моменты этой оптики: признание множественного, плюралистического характера Модерна и отказ от эссенциалистских понятийных дихотомий вроде «тоталитарные/демократические», «развитые/развивающиеся» и т. п. На замену предлагаются заимствованные у Поппера «более гибкие категории „открытости/закрытости“ социальных структур» (Прохорова, 2009)²¹, лучше, по мнению автора, схватывающие динамику и трансформационный потенциал современных обществ, которым свойственно двигаться «как в направлении открытости, так и в направлении закрытости под влиянием различных исторических обстоятельств» (Прохорова, 2009). Правда, причины, по которым общества должны двигаться в какую-либо из означенных сторон, никак не обозначаются, а сама дихотомия «открытое/закрытое» объявляется эндогенной травмой всех современных обществ без каких-либо гипотез относительно ее этиологии. Движение от «закрытости» к «открытости» просто постулируется как обязательное, при этом «открытость» трактуется как старое доброе непротиворечивое сочетание инсти-

20. Характерное название одной из книг Л. Д. Гудкова (Гудков, 2011).

21. Не будет лишним напомнить о частоте употребления Поппером термина «тоталитаризм» и его производных в работе, из которой было произведено заимствование этих «более гибких категорий».

туциональных кластеров, хорошо нам знакомое по различным версиям теории модернизации (Прохорова, 2009). В то же время каждый случай закрытости является особым²². Таким образом, абсолютно верные исходные посылы несводимого к «эссенциалистским понятийным дихотомиям» имманентного анализа советской версии Современности трансформируются под воздействием нарратива «тоталитаризм/демократия» в еще одно историософское и натуралистическое повествование о Модерне как о перманентной борьбе «открытого» с «закрытым».

Все три примера объединяет отношение к советскому как к абсолютно исключительному случаю в мировой истории, настолько сильному отступлению от некоей воображаемой нормы, от «большака цивилизации», как писали публицисты времен перестройки, что 1) для его объяснения практически неприменим известный нам инструментарий социальных наук (правда, для теорий тоталитаризма и модернизации сделано исключение), а выработка «своих» понятий мешает длящегося институциональное и антропологическое наследие «тоталитарного прошлого»²³; 2) это «перманентное чрезвычайное положение» объяснимо неким непрерывно функционирующим механизмом отношения власти к подданным и территориям, меняются лишь вывески и технологии, а его сущность остается неизменной (впрочем, столь мощная способность данной концепции объяснить решительно все — от ресурсной зависимости государственных расходов и ГУЛАГа до влияния российской оккупации Кенигсберга на философию Канта — вынуждает усомниться в ее общей теоретической релевантности²⁴; 3) все-таки, наверное, стоит обратить внимание на «международный контекст» и спуститься на уровень локальных историй Модерна, но в этом случае отношения нормы и девиаций становятся совсем уж подвижными и начинают угрожать порядку самого «нормализаторского дискурса». Иначе говоря, пусть будет «новая оптика сравнительного изучения различных локальных историй», но о том, как должно выглядеть «нормальное», «открытое», общество забывать все же не стоит.

Так изначальная установка на объяснение через «инаковость», через исключительный, не поддающийся описанию ни в рамках нормы, ни в рамках критики характер советского объединяет и довольно замшелые теоретические конструкции, и новые концепции в рамках общей нарративной стратегии, устанавливающей определенные идеологические рамки проблематизации советского. Рамки эти устроены так, что дискуссии между «особым путем» и «драмой никак не случаю-

22. Например, автор статьи критикует Ю. Хабермаса, неправоммерно, по ее мнению, сблизившему в своих исследованиях структурные проблемы советской и западной версий Модерна, тогда как это «альтернативные модели». Видимо, Хабермас слишком буквально воспринял призыв автора «вести предмет исследования в международный контекст» (Прохорова, 2009).

23. «При последовательном применении такого принципа российская самобытность становится едва поддающимся фальсификации символом веры. И действительно, почти каждое указание на сопоставимость России с другими странами по тем или иным конкретным параметрам отмечается со ссылкой на несущественность такого сравнения для целого. Такая позиция неизбежно сопряжена с идеализацией „Запада“ как царства „нормы“, выступающего эталоном для России» (Габович, 2008: 57).

24. Подробный, хотя и несколько полемичный разбор сюжета с Кантом и внутренней колонизацией см.: Круглов, 2013.

щейся вестернизации» (как вариант вдруг ставшее популярным сейчас вопрошание, «возвращаемся ли мы назад в СССР?») не прекращаются. Так возникает капкан дурной бесконечности отражающих друг друга антагонистических позиций, не предполагающий никакого выхода за установленные границы.

Выбраться из этого нарративного капкана можно только при радикальной смелости исследовательской оптики и действительном отказе от широких внутренне недифференцированных понятий, отчуждающих многообразие социального опыта. Новизна подхода Наталии Никитичны состояла как раз в том, что «советское» рассматривалось ею не как стигма, девиация от некой «цивилизационной нормы» и т. п.²⁵, а как «нормальный» предмет интерпретации, раскрывающий советский проект как еще одну версию Современности, вполне поддающуюся описанию выработанными ею же теоретическими инструментами²⁶.

Можно выделить основные измерения исследовательского проекта Н. Н. Козловой, позволяющие воспринимать его как некое единое целое, от «Наивного письма» до «Сцен из истории изобретения советского общества»:

1) Этическое: «борьба за угнетенное прошлое» (Беньямин, 2000: 235) должна исходить из того, что никто не может обладать монополией на рациональность, а поэтому «мы не должны сегодня по привычке говорить *за* других или от их имени» (Козлова, 2001), это радикально-демократическое видение общества, проект возвращения «*истории молчащих*» (Козлова, Сандомирская, 1996: 7). Отсюда регулярно практикуемый Козловой глубоко феноменологический по своей сути жест²⁷: сознательное пренебрежение «законодательной» функцией интеллектуала (отсюда, видимо, идут любовь к эзопову языку, недосказанностям, нежелание переходить к широким теоретическим обобщениям), автозапрет на такое привыч-

25. «Первая половина 90-х была периодом символических игр и символической борьбы по поводу *совка*. *Совок* виделся отклонением тем, кто писал в газетах и вещал с экрана телевизора, ¼ интеллигентам (интеллектуалам)-производителям норм. Употреблявший это имя, казалось, подтверждал: уж я-то — не *совок*. В имени *совок* сосредоточивалось неудовольствие именно этой группы людей, что не способствовало спокойному поиску новых теоретических идеализаций. Сегодня хорошо видно, что стигматизация больших масс людей была ставкой в символической борьбе интеллектуалов и не имела отношения к проблеме теоретического объяснения того, что происходило в советском обществе» (Козлова, 2005: 60).

26. «Стремясь понять „свое“, исследователь российской практики испытывает настоятельную потребность в новых теоретических подходах. Часто отечественный материал не вмещается в прокрустово ложе „чужих“ понятий, сложившихся в другой культурно-исторической реальности. Однако не существует иного способа определения границ применимости теории или метода, нежели распространение их на новую предметную область» (Козлова, Смирнова, 1995: 12). Эта «теоретическая смелость» сразу резко выделяет подход Козловой на фоне упомянутых выше непрекращающихся заклиний о «стране родимых осин».

27. О близости некоторых подходов феноменологической социологии исследовательскому проекту Н. Н. Козловой см.: Смирнова, 2016: 15–16. Однако Козлова не ограничивается только лишь анализом конечных областей значения и движется значительно дальше, показывая формирование огромного социального и политического проекта из перспективы «bottom-up» («снизу-вверх»), как могли бы охарактеризовать ее Эдвард Томпсон и другие исследователи истории английского рабочего класса. Именно поэтому проект Козловой — это еще и *политическая антропология* советского.

ное для отечественного интеллектуального нормализаторства²⁸. Доминирующему в теории и в медиа колониальному взгляду «о себе как о дикарях» (Козлова, 2005: 15) надо противопоставить новую исследовательскую практику: *переписывание* собственного опыта участника и продолжателя советской истории на языке современной социальной теории (Козлова, 2005: 17).

2) Эпистемологическое: работа Наталии Козловой показывает повседневное конституирование советского варианта Современности не с точки зрения государства или его интеллектуалов, занятых производством норм повествования о себе и окружающей действительности, а глазами рядовых агентов советской модернизации. Такая оптика позволяет выйти за рамки стандартных оппозиций, используемых в описаниях советского общества (свобода—подавление, правда—ложь, искренность—цинизм и т. п.). Речь идет о радикальной имманентной исследовательской позиции²⁹, которую сама Наталия Никитична иронично называла позицией «подопытного наблюдателя» (Козлова, 2005: 9–22). Каким образом этот «подопытный наблюдатель» может получить доступ к историческому опыту? Каким образом можно его объективировать, пребывая «внутри» истории? Модерн — не только эпоха массовых обществ, движений, массовой культуры, но и время массовых биографий. Благодаря взрывному росту доступности чтения и письма у огромного числа людей впервые появилась возможность сказать о себе «Я» и поведать (себе и другим) историю этого «Я». Идентичность перестала быть наследством, определяемым местом в социальной иерархии, а стала продуктом массового производства и одновременно индивидуального изобретения. Количество произведенных таким образом историй, объем этого советского архива³⁰, вряд ли поддается исчислению. Так «большие нарративы» Просвещения, обещавшие неумолимость прогресса, привели к появлению огромного числа нарративов малых, отразивших рождение и становление новых форм социальной жизни³¹. Эти повествования, рассказанные «щепками истории», есть такая же важная часть советского наследия, как и сохраняющаяся еще вера в возможность общественно-го устройства на разумных началах. У Наталии Никитичны в одной из ее статей есть замечательная фраза: «Мы — наследники сложного архива, а не абстрактные представители Разума или Истории, народа (масс) или элиты» (Козлова, 2001). По-

28. Подробный разбор проблемы «производителей нормы» на примере дальнейшей истории рецепции исследований «наивного письма» см.: Сандомирская, 2012.

29. «Не следует ли стремиться писать тексты, учитывая собственную включенность в процесс, т. е. в ту историю, которую сам изучаешь? Твой взгляд $\frac{3}{4}$ взгляд *участника*... В этом случае имеет место акт *признания*: кто ты такой и откуда говоришь $\frac{3}{4}$ из какой точки на пересечении множества силовых линий советской и российской истории» (Козлова, 2005: 18).

30. «Архив $\frac{3}{4}$ учреждение и хранилище памяти, материализовавшейся в горах документов $\frac{3}{4}$ официальных и неофициальных. С одной стороны $\frac{3}{4}$ статистические отчеты, государственные решения партийные постановления, распоряжения и справки, бесконечные справки, протоколы партсобраний, газетные и журнальные статьи. С другой $\frac{3}{4}$ письма, дневники, воспоминания» (Козлова, 2005: 11).

31. «Теоретическая рефлексия подвергается испытанию конкретными практиками. Тыходишь в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаешься показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело» (Козлова, 2005: 28).

этому нам, как наследникам архива, доступ к предмету исследования открывается через обращение к документам эпохи, к малым нарративным формам, мемуарам и дневникам, фактически документирующим опыт советской современности на «молекулярном» уровне. Увидеть этот молекулярный уровень должна помочь новая теоретическая оптика: обращение к повседневности позволяет понять, что реальность множественна, что те, кого принято называть «массой», также обладают собственной «агентностью», способностью к действию, пусть она и не делает их субъектами в классическом смысле слова, но и не лишает их права на полноценное участие (Козлова, 2005: 61). Общество в такой перспективе — это не столько предмет *договора*, сколько продукт *согласия* в результате *принятия правил игры* (Козлова, 2005: 66–67). Власть в этом случае — не столько собственность сверхсубъекта партийной диктатуры, сколько набор отношений, зачастую весьма опосредованных, а значит, не только инструмент доминирования, но и ресурс доминируемых, которые далеко не всегда безвластны³². Господствующий дискурс — это не только «жесткое сцепление деспотического письма» или язык «массового распространения вины», но и средство социализации, семантический ресурс, откуда берутся материалы для строительства индивидуальных биографий и формирования идентичностей³³. Можно сказать, что малые нарративы, составляющие этот самый «сложный архив», сами находятся в отношениях *субверсии* по отношению к доминирующим дискурсивным модусам репрезентации советского, так как рисуемый ими «снизу» образ советского общества существенно не совпадает с картинами политической концепции тоталитаризма.

3) Онтологическое: исследовательский проект Н. Н. Козловой открывает новое пространство теоретической работы, позволяющей увидеть советское общество не как единую монолитную конструкцию, скрепленную идеологией и репрессивным аппаратом, а как открытую динамичную сеть практик и постоянно смещающихся балансов сил, внутренних различий, меняющихся идентичностей. Неустрашимый зазор между политически обусловленными нарративными структурами, лежащими в основе общепринятых историко-теоретических описаний советского общества и «малыми нарративами» непосредственных участников советской модернизации, раскрывает имманентный план производства социальной жизни, нередуцируемый ни к каким недифференцированным понятиям вроде тоталитаризма или внутренней колонизации³⁴. «Общество производится людьми и не может

32. «Тогда субъект, который кажется обладающим полнотой власти, действует не так уж преднамеренно, а действия тех, кто находится явно в подчиненном положении, также сказываются на результатах игры. Тогда получается, что нет абсолютно безвластных. Важно отметить, что в игре участвуют все» (Козлова, 2005: 67).

33. «...тот язык, который определяется в рамках определенной точки зрения как тоталитарный, обладает потенциалом высвобождения и складывания субъектности. Проблема, каким образом, видится значительно более сложной, чем она вырисовывается из концепций тоталитарного языка, и требует активного переосмысления» (Козлова, 2005: 474–475).

34. «Первое ошеломляющее впечатление — многоголосие, несводимое к общему знаменателю. Очень скоро возникло ощущение противоречия. Документы сопротивлялись всякой интерпретации, как бы показывая, что каждая из них заведомо неполна... Советские люди вовсе не смотрелись ку-

продолжать существование без осмысленных человеческих действий» (Козлова, 2005: 28). Применение акторного анализа релятивизирует представления об отношениях социального субъекта и структуры общества, обнаруживает *возможности действия, вообще не требующие никакой субъектной определенности*³⁵. Социальная ткань, таким образом, может состоять из совершенно разных уровней или степеней субъектности, от нулевой, как в случае Е. Г. Киселевой, до значительно более «развитых» акторов, например Л. М. Де Морей. Таким образом, в обществе бок о бок, одновременно, сосуществуют и представители практически «естественного состояния» (Киселева) и вполне сформированные носители современной идентичности (Л. М. Де Морей), и все они так или иначе играют на воспроизводство правил общего жизненного горизонта. Это вовсе не отменяет того факта, что советский модерн являл собой впечатляющую фабрику по производству субъективности, однако совсем не в том смысле, о котором нам толкуют теории тоталитаризма: это была игра в конструирование общества, в том числе и «снизу-вверх», результаты этой игры неизменно превосходили сумму ее исходных составляющих, это был открытый процесс с принципиально неизвестным результатом, очень метко названный Козловой *непреднамеренным социальным изобретением* (Козлова, 2005: 72). Внезапный, никем не предвиденный финал этой игры — тому подтверждение³⁶.

Таким образом, Н. Н. Козловой удалось заложить основы весьма амбициозного исследования *политической антропологии* советского Модерна, поставившей под вопрос конвенциональные рамки восприятия и способы повествования. При этом не стоит забывать, что подобное открытие новой исследовательской оптики не могло не отразиться на самом теоретическом инструментарии, использованном при ее создании: здесь речь уже идет о том, чтобы выйти за непосредственные границы исследовательских задач Наталии Никитичны и попытаться поставить некоторые вопросы перед политической теорией Современности.

клами на веревочках структуры. Не было однозначного впечатления, что их *формирует* сверхсубъект-власть... Работа в архиве заставляла меня подвергать сомнению общепринятые концепции... Погружаясь в мир человеческих документов, ты уже не в состоянии воспринимать советский мир как органическое целое, как недифференцированное и непротиворечивое единство. На глазах разрушается образ единого общества-казармы. Язык концепций тоталитаризма „не совпадает“ с тем, как этот мир обговаривался людьми» (Козлова, 2001).

35. «Термин „актор“, с одной стороны, релятивизирует представление о субъекте, а с другой — оставляет широкий простор многообразию форм и степеней субъектности. Склонности и способности к деятельности могут мобилизоваться и развиваться, а значит, перед нами открытый процесс без фиксированных границ. Попросту говоря, человек может быть или не быть субъектом, но в любом случае он — актер, деятель. Обращение к проблематике человека массы как актора есть обращение к анализу „иного“, но не столько нового, сколько ранее не замечаемого... Понятно, что этот, казалось бы собственно методологический, поворот сопровождается утратой иллюзий. Он позволяет ощутить: те слова, которые интеллектуалы произносили „за народ“, за „массу“, суть лишь выражение их собственного дискурса...» (Козлова, Смирнова, 1995: 17). По поводу возможности действия без субъекта см.: Козлова, Сандомирская, 1996: 52–58.

36. «Это история о том, как было *изобретено* советское общество и как оно рухнуло *в три дня...*» (Козлова, 2005: 9).

Первый вопрос — это вопрос о понимании власти. Мы видим, что расхожее представление об отношениях господства и подчинения в СССР как об эманации репрессивного доминирования из единого центра либо не работает, либо как минимум является очень неполным, необходимо принять во внимание, что власть — это не постоянная величина на протяжении всей истории советского общества. Обращение к архиву подтверждает это: перед нами набор постоянных ускользающих, смещений, вновь возникающих демаркаций и постоянно меняющихся балансов³⁷. После Мишеля Фуко в таком вопросе самом по себе вряд ли содержится принципиальная новизна, несмотря на то что применение реляционного анализа позволяет увидеть некоторые важные аспекты функционирования советской дисциплины. Однако сюда примыкает очень важный аспект (Фуко, который акцентировал внимание на аппаратах производства дисциплины, не успев уделить ему достаточно внимания) — это «потребление», если использовать терминологию Мишеля Де Серто, дисциплинуемыми налагаемых на них дисциплинарных практик (De Certeau, 1988: xiv–xv). Речь идет о многочисленных «тактиках слабых», техниках сопротивления, применяемых доминируемыми, меняющих отношения власти «снизу», «изнутри». Этот момент незапланированных последствий социального действия, как мы успели увидеть выше, очень занимал Н. Козлову.

Поэтому здесь возникает *второй вопрос*: если власть — это в первую очередь отношение, а не только сила или тем более субстанция, которой обладают, то не выходит ли так, что в некоторых аспектах сопротивление первично? Что оно есть необходимое условие отправления власти, которая, следовательно, невозможна без некоторой минимальной степени свободы тех, кем она собирается управлять? Этот вопрос опять возвращает нас к Фуко, но, видимо, эту проблему уже сформулировал Спиноза в начале XVII главы «Богословско-политического трактата»: «Никто не будет в состоянии когда-либо перенести на другого свою мощь, а следовательно, и свое право так, чтобы перестать быть человеком; и никогда не будет существовать какая-либо такая верховная власть, которая могла бы выполнить все так, как она хочет» (Спиноза, 2015: 183). Именно сопротивление доминируемых, зачастую незаметное, оказывается тем самым мотором формирования субъектности, который движет историческими трансформациями.

Третий вопрос, вытекающий из второго, — это проблема формирования (производства субъекта), подразумевающая рассмотрение взаимоотношений субъекта с языком доминирующей идеологии. Здесь, из анализа документов, мы видим, что «идеологические аппараты государства» (Althusser, 1971) не только действуют «сверху-вниз», индоктринируя потенциального субъекта, но также являются резервуаром значений, своего рода семантическим контейнером, который домини-

37. «Чтение „человеческих документов“ позволяет ощутить, что власть — не то, чем владеет та или иная социальная группа или человек и что отсутствует у другой группы. Власть — это отношение, которое является компонентом всех других отношений, в том числе отношений коммуникации, речь идет о балансах власти. Это битва, в том числе битва за взгляд на мир, результатом которой является установление социальных отношений» (Козлова, Сандомирская, 1996: 51).

руемые используют как ресурс конструирования идентичности, социализации, как ставку в игре за приращение социального капитала, попутно производя те самые «непреднамеренные социальные изобретения», меняющие в конечном итоге историю.

Отсюда *четвертый вопрос*: какие свойства этого субъекта, этого самого главного «непреднамеренного социального изобретения» советского Модерна, видимо, совершенно не запланированные советской властью, привели к столь неожиданному его коллапсу? Или же нужно вести речь об условиях, которые сделали возможным этот крах советского проекта? Вероятно, нужно обратить внимание на открытие Н. Козловой имманентного плана (вос)производства советского общества, приводящее нас, в свою очередь, к вопросу о *биополитике* в СССР: каким образом позднесоветский *диспозитив* (совокупность когнитивных, дискурсивных, аффективных телесных, урбанистических практик и механизмов, отвечающих за формирование субъектности) столкнулся с задачами, которые уже не поддавались решению традиционными методами социалистической дисциплинарной модернизации, сформированными в предшествующую индустриальную эпоху (Hardt, Negri, 2009: 270)?

Отсюда следует *пятый вопрос*: что все это значит для той версии Современности, которая исторически оказалась (пока) более устойчивой? Символическая взаимная идентификация СССР и Запада (Dean, 2012: 27) была столь велика, что заполнить образовавшуюся пустоту до сих пор проблематично. Здесь нельзя не вспомнить меткое замечание одного американского историка и политического теоретика, что «исторический эксперимент социализма был настолько тесно укоренен в традиции западной современности, что его поражение не могло не поставить под вопрос и весь западный нарратив» (Buck-Morss, 2000: xii). Вероятно, настало время не только описать как «норму» советскую версию Модерна³⁸, но и задать вопрос о том, какие последствия несет его внезапный уход с исторической сцены для идентичности нынешних западных обществ и для современной политической теории как базовой рамки их самоописания и рефлексии, одним словом, для той современности, которую привыкли считать эталоном и образцом. Это вопросы, которые ждут своих исследователей.

Литература

Арендт Х. (1996). Введение // Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова под ред. М. С. Ковалевой и Д. М. Носова. М.: ЦентрКом. С. 7–28.

38. «А вообще-то, в конце концов, история СССР вновь должна стать частью европейской истории хотя бы потому, что тот же сталинизм есть яркое выражение просвещенческой утопии. Это попытка средствами государства рационально упорядочить общество, одновременно преодолевая острые различия, которые возникли в процессе индустриализации российского общества. Она коренилась в традиции социально ориентированного, городского прежде всего, общества, которая сделала Просвещение возможным» (Козлова, 2005: 21).

- Архангельский А. (2016). Дырка от этики. Что не так с российской системой ценностей. URL: <http://carnegie.ru/publications/?fa=63999> (дата доступа: 02.08.2016).
- Бадью А. (2005). Тайная катастрофа: конец государственной истины / Пер. с фр. Т. В. Анисимовой // Социология под вопросом: социальные науки в постструктуралистской перспективе. М.: Институт экспериментальной социологии, Праксис. С. 269–299.
- Беньямин В. (2000). О понимании истории // Беньямин В. Озарения / Пер. с нем. Н. М. Берновской. М.: Мартис. С. 228–236.
- Вахштайн В. С. (2011). Постсоветская социология: конец первого акта // Социология: теория, методы, маркетинг. № 2 С. 59–77.
- Вахштайн В. С. (2012). Абортивная социология (Рецензия на книгу: Лев Гудков, Абортивная модернизация [М.: РОССПЭН, 2011]) // Социология власти. № 4-5. С. 274–279.
- Габович М. (2008). К дискуссии о теоретическом наследии Юрия Левады // Вестник общественного мнения. № 4. С. 50–61.
- Грозовский Б. (2016). Изобретенная традиция СССР. URL: <http://www.inliberty.ru/blog/2336-Izobretennaya-tradiciya-SSSR> (дата доступа: 02.08.2016).
- Гудков Л. Д. (2004). «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия // Гудков Л. Д. Негативная идентичность: статьи 1997–2002 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 362–446.
- Гудков Л. Д. (2006). О ценностных основаниях и внутренних ориентирах социальных наук // Пути России: проблемы социального познания. М.: МВШСЭН. С. 26–38.
- Гудков Л. Д. (2007). «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. № 6. С. 16–30.
- Гудков Л. Д. (2009). Условия воспроизводства «советского человека» // Вестник общественного мнения. № 2. С. 8–37.
- Гудков Л. Д. (2011). Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН.
- Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю. (2012). К анализу дотеретических оснований социологии образования: экспликация базовых метафор // Вопросы образования. № 4. С. 22–39.
- Капустин Б. Г. (1998). Россия и Современность: критика западной советологии // Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН. С. 195–267.
- Козеллек Р. (2014). Введение // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 1 / Пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: Новое литературное обозрение. С. 23–44.
- Козлова Н. Н. (2001). Советский архив: чтение и переписывание // Индекс/Досье на цензуру. № 14. URL: <http://index.org.ru/journal/14/kozlova1401.html> (дата доступа: 02.08.2016).
- Козлова Н. Н. (2005). Советские люди: сцены из истории. М.: Европа.

- Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. (1996). «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общество.
- Козлова Н. Н., Смирнова Н. М. (1995). Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация // Социологические исследования. № 11. С. 12–22.
- Круглов А. Н. (2013). Кант и «внутренняя колонизация России» (Рецензия на книгу: А. М. Эткин, Внутренняя колонизация: имперский опыт России) // Кантовский сборник. Вып. 4. С. 87–99.
- Малахов В. С. (2013). Бритые и бородатые // Отечественные записки. № 5. URL: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/briyte-i-borodatye> (дата доступа: 02.08.2016).
- Прохорова И. Д. (2009). Новая антропология культуры. Вступление на правах манифеста // Новое литературное обозрение. № 100. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/zai.html> (дата доступа: 02.08.2016).
- Сандомирская И. И. (2012). «Наивное письмо» пятнадцать лет спустя, или На смерть соавтора // Неприкосновенный запас. № 82. URL: <http://www.nlobooks.ru/node/2075> (дата доступа: 02.08.2016).
- Смирнова Н. М. (2016). От исследования массового сознания к методу биографического нарратива: опыт реконструкции творческой биографии и исследовательской программы Н. Н. Козловой. // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». № 2. С. 9–17.
- Сомов В. А. (2012). Советский человек как социокультурный тип в научном дискурсе // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 6. С. 117–122.
- Спиноза Б. (2015). Богословско-политический трактат / Пер. с лат. М. М. Лопаткина, С. М. Роговина, Б. В. Чредина. М.: Академический проект.
- Уайт Х. (2001). Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитоновой. Екатеринбург: Изд-во Урал-ун-та.
- Эткинд А. М. (2013). Внутренняя колонизация: имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М. (2016). Кривое горе: память о непогребенных / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М., Уффельманн Д., Кукулин И. В. (ред.) (2012). Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России. М.: Новое литературное обозрение.
- Эткинд А. М., Уффельманн Д., Кукулин И. В. (2013). Внутренняя колонизация России между практикой и воображением // Политическая концептология. № 2. С. 31–56.
- Юрчак А. В. (2016). Воображаемый Запад: пространства вневходимости позднего социализма // Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение. С. 311–403.

- Althusser L.* (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation) // *Althusser L. Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York: Monthly Review Press. P. 127–186.
- Badiou A.* (1998). D'un désastre obscur: sur la fin de la vérité d'État. Paris: Aube.
- Buck-Morss S.* (2000). Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge: MIT Press.
- De Certeau M.* (1988). The Practice of Everyday Life. Los Angeles: University of California Press
- Dean J.* (2012). The Communist Horizon. London: Verso.
- Friedrich Carl J., Brzezinski Zb.* (1956). Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt M., Negri A.* (2009). Commonwealth. Cambridge: Belknap Press.
- Žižek S.* (2001). Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis) Use of a Notion. London: Verso.

Theory and Narrative in Soviet Studies: The Relevance of Natalya Kozlova's Thought for the Political Theory of Modernity

Maxim Fetisov

Candidate of Sciences, Kozlova Center for Social Theory and Political Anthropology, Department of Philosophy, Russian State University for the Humanities

Address: Miusskaya sq., 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993

E-mail: msfetisov@gmail.com

This article is intended to present and reconstruct the original theoretical vision of the Soviet society elaborated by the Russian social theorist, philosopher, and political anthropologist Natalya Kozlova (1946–2002). In contrast to common media and theoretical wisdom tagging Soviet society as “totalitarian,” Kozlova proposed a vivid theoretical picture consisting of diverse everyday practices and social techniques comprising the Soviet version of modernity. This picture is based on the thorough sociological and anthropological analysis of different autobiographical narratives and diaries of everyday life as written by ordinary actors of Soviet modernization. The theoretical analysis of the Soviet modernity presented in this “bottom-up” perspective radically puts the theoretical relevance of any unifying and undifferentiated dominant political and ideological concepts and narratives that depict its history as the one of endless repression leaving no room for the actions of individual actors to be brought into question. The article analyses the detrimental influence of widespread media and theoretical narratives based on such ideologically informed concepts as “totalitarianism,” “internal colonization,” or “open society” on the theoretical conceptualization of the Soviet experience. It argues that the mainstream, uncritical usage of these stigmatizing narratives in the Russian media and in social science impedes new ways of thinking about the Soviet experience. Following the theoretical insights revealed by the research project of Natalya Kozlova, the paper explores the topics of agency, power, and the production of subjectivity while proposing the invention of ways for a more sophisticated comprehension of Soviet society within a wider context of the political theory of modernity.

Keywords: totalitarianism, narrative, autobiography, Soviet, archive, power, subjectivity

References

- Althusser L. (1971) Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation). *Lenin and Philosophy and Other Essays*, New York: Monthly Review Press, pp. 127–186.
- Badiou A. (1998) *D'un désastre obscur: sur la fin de la vérité d'État*, Paris: Aube.
- Buck-Morss S. (2000) *Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West*, Cambridge: MIT Press.
- Dean J. (2012) *The Communist Horizon*, London: Verso.
- De Certeau M. (1988) *The Practice of Everyday Life*, Los Angeles: University of California Press
- Friedrich Carl J., Brzezinski Zb. (1956) *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt M., Negri A. (2009) *Commonwealth*, Cambridge: Belknap Press.
- Žižek S. (2001) *Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis) Use of a Notion*, London: Verso.
- Arendt H. (1996) Vvedenie [Introduction of 1966]. *Istoki totalitarizma* [Origins of Totalitarianism], Moscow: CentrKom, pp. 7–28.
- Arhangel'sky A. (2016) Dyrka ot jetiki. Chto ne tak s rossijskoj sistemoj cennostej [Hole instead of Ethics. What's Wrong with the Russian System of Values]. Available at: <http://carnegie.ru/publications/?fa=63999> (accessed 2 August 2016).
- Badiou A. (2005) Tajnaja katastrofa: konec gosudarstvennoj istiny [Of an Obscure Disaster: The End of The Truth of State]. *Sociologija pod voprosom: social'nye nauki v poststrukturalistskoj perspective* [Sociology Under Question: Social Science from Poststructuralist Point of View], Moscow: Praxis, pp. 269–299.
- Benjamin W. (2000) O ponimanii istorii [Theses on the Philosophy of History]. *Ozarenija* [Illuminations], Moscow: Martis, pp. 228–236.
- Etkind A. (2013) *Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii* [Internal Colonization: Russia's Imperial Experience], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A. (2016) *Krivoje gore: pamjat' o nepogrebennyh* [Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (eds.) (2012) *Tam, vnutri: praktiki vnutrennej kolonizacii v kul'turnoj istorii Rossii* [There inside: Practices of Internal Colonization in the History of Russian Culture], Moscow: New Literary Observer.
- Etkind A., Uffelman D., Kukulin I. (2013) Vnutrennja kolonizacija Rossii: mezhdru praktikoj i voobrazheniem [Internal Colonization of Russia: Between Practice and Imagination]. *Political Conceptology*, no. 2, pp. 31–56.
- Gabovich M. (2008) K diskussii o teoreticheskom nasledii Jurija Levady [To the Discussion on Theoretical Legacy of Yuri Levada]. *Russian Public Opinion Herald*, no 4, pp. 50–61.
- Grozovsky B. (2016) Izobretennaja tradicija SSSR [Invented tradition of USSR]. Available at: <http://www.inliberty.ru/blog/2336-izobretennaya-tradicija-SSSR> (accessed 2 August 2016)
- Gudkov L. (2004) "Totalitarizm" kak teoreticheskaja ramka: popytki revizii spornogo ponjatija [Totalitarianism as a Theoretical Framework: An Attempt to Revise the Controversial Concept]. *Negativnaja identichnost': stat'i 1997–2002 godov* [Negative Identity: Writings of 1997–2002], Moscow: New Literary Observer, pp. 362–446.
- Gudkov L. (2006) O cennostnyh osnovanijah i vnutrennih orientirah social'nyh nauk [On Value Basics and Internal Orientations of Social Science]. *Puti Rossii: problemy social'nogo poznanija* [The Paths of Russia: Problems of Social Knowledge], Moscow: Moscow School of Social and Economic Sciences, pp. 26–38.
- Gudkov L. (2007) "Sovetskij chelovek" v sociologii Jurija Levady [The "Soviet Man" in Yuri Levada's Sociology]. *Social Science and Modernity*, no. 6, pp. 16–30.
- Gudkov L. (2009) Uslovija vosproduzhdstva "sovetskogo cheloveka" [The Conditions of the Reproduction of the "Soviet Man"]. *Russian Public Opinion Herald*, no. 2, pp. 8–37.
- Gudkov L. (2011) *Abortivnaja modernizacija* [Abortive Modernization], Moscow: ROSSPEN.

- Kapustin B. (1998) Rossiya i sovremennost': kritika zapadnoj sovetologii [Russia and Modernity: the Critique of Western Sovietology]. *Sovremennost' kak predmet politicheskoy teorii* [Modernity as an Object of Political Theory], Moscow: ROSSPEN, pp. 195–267.
- Konstantinovsky D., Vakhshstain V., Kurakin D. (2012) K analizu doteoreticheskikh osnovanij sociologii obrazovanija: jeksplikacija bazovykh metafor [Analyzing Pre-Theoretical Foundations in Sociology of Education: Explication of Basic Metaphors]. *Educational Studies*, no 4, pp. 22–39.
- Kozellek R. (2014) Vvedenie [Introduction]. *Slovar' osnovnykh istoricheskikh ponjatij: Izbrannye stat'i. T. 1* [Dictionary of Basic Historical Concepts: Selected Articles, Vol. 1], Moscow: New Literary Observer, pp. 23–44.
- Kozlova N. (2001) Sovetskij arhiv: chtenie i perepisyvanie [A Soviet Archive: Reading and Rewriting]. *Index on Censorship*, no. 14. Available at: <http://index.org.ru/journal/14/kozlova14o1.html> (accessed 2 August 2016).
- Kozlova N. (2005) *Sovetskie ljudi: sceny iz istorii* [Soviet People: Scenes from the History], Moscow: Evropa.
- Kozlova N., Sandomirskaya I. (1996) "Ja tak hochu nazvat kino". "Naivnoe pismo": Opyt lingvo-sociologicheskogo chtenija ["I'd like to call a movie like this". "Naive Writings": An Attempt of Linguistic and Sociological Reading], Moscow: Gnozis, Russian Society of Phenomenology.
- Kozlova N., Smirnova N. (1995) Krizis klassicheskikh metodologij i sovremennaja poznavatel'naja situacija [The Crisis of Classical Methods and the Situation in Contemporary Knowledge]. *Sociological Studies*, no 11, pp. 12–22.
- Kruglov A. (2013) Kant i "vnutrennjaja kolonizacija Rossii" (Recenzija na knigu: A. M. Etkind, Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii) [Kant and "Internal Colonization of Russia" (Review of Alexander Etkind's "Internal Colonization")]. *Kantovskij Sbornik*, vol. 4, pp. 87–99.
- Malakhov V. (2013) Britye i borodatye [Shaved and Bearded]. *Otechestvennye zapiski*, no 5. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2013/5/bryte-i-borodatye> (accessed 2 August 2016).
- Prokhorova I. (2009) Novaja antropologija kul'tury: vstuplenie na pravah manifesta [Towards the new Anthropology of Culture: Introduction and Manifest]. *New Literary Observer*, no. 6. Available at: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/za1.html> (accessed 2 August 2016).
- Sandomirskaya I. (2012) "Naivnoe pis'mo" pjatnadcat' let spustja, ili Na smert' soavtora ["Naive Writings" Fifteen Years After; or, On the Death of Co-Author]. *NZ: Debates on Politics and Culture*, no 2. Available at: <http://www.nlobooks.ru/node/2075> (accessed 2 August 2016).
- Smirnova N. (2016) Ot issledovanija massovogo soznaniya k metodu biograficheskogo narrativa: opyt rekonstrukcii tvorcheskoj biografii i issledovatel'skoj programmy N. N. Kozlovoj [From the Study of Mass Consciousness to the Method of Biographical Narrative: An Attempt of the Reconstruction of N. Kozlova's Work Biography and Research Program]. *RSUH Bulletin, Series: Psychology, Pedagogics, Education*, no 2, pp. 9–17.
- Somov V. (2012) Sovetskij chelovek kak sociokul'turnyj tip v nauchnom diskurse [Soviet Man as Social and Cultural Type in Modern Scholarly Discourse]. *Lobachevsky University of Nizhni Novgorod Bulletin*, no. 6, pp. 117–122.
- Spinoza B. (2015) *Bogoslovsko-politicheskij traktat* [Theological-Political Treatise], Moscow: Academic Project.
- Vakhshstain V. (2011) Post-sovetskaja sociologija: konec pervogo akta [Post-Soviet Sociology: The End of the First Stage]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, no 2, pp. 59–77.
- Vakhshstain V. (2012) Abortivnaja sociologija (Recenzija na knigu: Lev Gudkov, Abortivnaja modernizacija [Abortive Sociology (Review of Lev Gudkov's "Abortive Modernization")]. *Sociology of Power*, no 4–5, pp. 274–279.
- White H. (2001) *Metaistorija: istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka* [Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe], Ekaterinburg: Ural University Press.
- Yurchak A. (2016) Voobrazhaemyj Zapad: prostranstva vnenahodimosti pozdnego socializma [Imaginary West: The Elsewhere of Late Socialism]. *Yeto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, Until: The Last Soviet Generation], Moscow: New Literary Observer, pp. 311–403.